

В НЕПОВТОРИМЫХ КРАСКАХ ЖИЗНИ

Имя этого человека сегодня вряд ли кому из нынешнего поколения лискинцев о чем-то говорит. Время вытерло его своими наждачными жерновами из народной памяти, унесло в кладовые забытого прошлого, где могло упокоить навсегда, если бы... Если бы не оставил наш земляк после себя свои произведения, и по сей час хранящиеся на библиотечных стеллажах.

По одному из таких сборников рассказов Николая Алехина, попавших в мои руки, и я какое-то время назад узнал о нем. И прежде всего, что родом он из Лисок! Земляк! Член Союза писателей Советского Союза! С этих скудных сведений и начались поиски всего, что могло хоть как-то приоткрыть завесу над жизнью и творчеством этого неординарного литератора. К сожалению, корни его лискинского «дерева-происхождения» тоже высохли: ни каких-либо родственников, знакомых, никого другого, кто вспомнил бы этого человека, я не нашел, хотя и старался.

Помог Интернет — на сайте образовательно-краеведческого портала России «Воронежский гид» обнаруживаю справку: *АЛЕХИН Николай Иванович (12.11.1913, станция Лиски Юго-Восточной железной дороги —*

12.06.1983, город Воронеж), прозаик, очеркист, член Союза писателей СССР (1958). Из семьи железнодорожника.

С 1930 года работал слесарем в паровозном депо станции Лиски, затем литературным сотрудником железнодорожной газеты «Лискинский ударник». В 1938–1946 годах служил в органах государственной безопасности. Несколько лет находился на партийной работе в городе Воронеже и городе Лиски. Произведения Алехина публиковались в альманахе «Литературный Воронеж», журналах «Подъём», «Октябрь», «Крокодил», «Смена» и других.

Автор изданных в Воронеже сборников рассказов «Карасики» (1953), «Рассказы Никиты» (1958), «Рубашки и овражки» (1965), «Доброе зерно» (1978).

Ищем дальше! Может, что в музее локомотивного депо отыщется, раз там работал будущий писатель? Однако музейщики ничем меня не обрадовали. Зацепился за строчки о работе Николая Ивановича в железнодорожной газете «Лискинский ударник», что выпускалась в послевоенные годы Лискинским отделением дороги. Слава Богу, сохранилась пара подшивков в редакции районной газеты. В одном из номеров за февраль 1949 года нахожу:

«Недавно в Лискинском клубе железнодорожников проводился День музыки. Широкие массы железнодорожников ознакомились с классической, народной музыкой... С докладом «За дальнейший расцвет советской музыкальной культуры» выступил заведующий отделом пропаганды и агитации РК ВКП(б) тов. Алехин...»

Выходит, в это время Н. Алехин был уже на партийной работе. Но с какого времени? Хотя и неполный, ответ дала информация в районной газете «Путь Ленина» за июль 1946 года, где сообщалось о районной партийной конференции и избрании на ней зав. отделом пропаганды некой Матвеевой А.Ф. Значит, эту должность Николай Иванович занял чуть позже, а до этого служил в органах государственной безопасности. Но что же дальше?

В Государственном архиве Воронежской области отыскались не только несколько фотографий Алехина, которые я до этого безуспешно искал, но и один интересный документ: письмо собственного корреспондента «Литературной газеты» Ольги Кретовой воронежскому писателю Н. Алехину с просьбой подготовить материал на тему «Здравницы Воронежской области». К письму приложена составленная Н.И. Алехиным подробная справка, датированная 4-м августа 1954 года, и адрес, скорее всего, домашний: г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, дом 18, кв. 34. То есть, в это время он уже жил и работал в Воронеже...

Из перечисленных журналов, где печатался Н. Алехин, доступным оказался лишь воронежский «Подъём», к тог-



Николай Иванович Алехин

дашнему редактору которого Александру Голубеву я и обратился за помощью. Тот не отказал, но через какое-то время с грустью признался, что ничем помочь, к сожалению, не может, хотя... Это загадочное «хотя» он расшифровал через какое-то время в виде врученной книжки воронежского писателя Петра Васильевича Сысоева «Былое», включавшей в себя художественную прозу и воспоминания автора. Был здесь и очерк о Николае Алехине, где рассказывается о нем, как о человеке в писательской организации авторитетном, помогавшем становлению молодых писательских талантов в Воронеже. На мой взгляд, уместно привести отрывок из очерка П. Сысоева, приуроченного к 60-летию писателя Н. Алехина.

ЖИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Николай Иванович за свою писательскую жизнь выпустил три сборника рассказов, написал десятки критических статей, а уж рецензиям на произведения начинающих авторов и счета нет.

Немало было написано и о его творчестве. В том числе и такое: «У дарования Н. Алехина — особый склад... Автор хорошо видит новое, передовое в

жизни родных воронежских колхозов и умеет раскрывать светлые стороны и грани колхозного быта». П. Чагин.

«Н. Алехин наделен редким даром светлого юмора... Юмор у него жизненный, потому что писатель любит своих героев, верит в них и знает их настолько, что их яркие речения — во всем богатстве и неповторимости — естествен-

но, переходят на страницы его рассказов... И позиция автора всегда партийная, в лучшем смысле тенденциозна...» Вл. Архангельский, газ. «Литература и жизнь» от 26 февраля 1958 г.

«Рассказы Никиты» — книга по существу полемическая. Своим ярким народным языком, насыщенным прибаутками, присловьями, фразеологизмами, иногда переходящими в полнокровный и праздничный, полузабытый теперь раешник, Алехин протестует против школярской гладкости дистиллированного языка, против стандартизации сюжетов и героев, против обесцвечивания в слове великих идей нашего времени, неповторимых красок жизни. Книга рассказов Алехина — это как бы та же статья о языке народа и языке литературном... только выраженная в художественной форме». О. Пучков, журнал «Подъём» № 6 за 1959 год...

...Я знаю Николая Ивановича давно. К нему первому (волею судьбы или случая, не знаю) я приносил почти все мои опусы, в том числе и те, которые теперь уже опубликованы.

Бывало так, что над моими рукописями Алехин работал вместе со мной так же упорно, так же скрупулезно, как его Олешанин над переделкой председателя Дубатовкина или горе-комбайнера Вениотинова (рассказ «За песнями»), лектора горожанина Пименова или даже энтузиаста навыворот Будякова (рассказы «Новая тема» и «Будяков»). Причем я ведь у него в подопечных, как у многолетнего руководителя союз-писательского литобъединения, ходил не один.

Истоки доброты Николая Ивановича и его Никиты Олешанина следует искать, конечно же, в жизни автора. Он родился в Лисках... в семье рабочего в 1913 году. После школы поступил в паровозное депо слесарем. Был сотрудником районной газеты, воевал, а после Великой Отечественной войны, вплоть до перехода на профессиональное писательское положение в 1951 году, был на партийной работе.

Никита Олешанин как-то заметил, что «кто говорит — тот сеет, кто слуша-

ет — пожинает». А он-де и пожинает, и «в ту ж пору сеет». Но должен же быть в колодце родник, а в улье — пчела, чтобы восполнять то, что забирают для своих нужд другие люди? В чем, кроме прожитых лет, он у писателя и большого друга молодой литературной поросли Николая Ивановича Алехина?

На этот вопрос сам писатель ответил так:

— В сорок шестом году мои рассказы обсуждали в московской областной комиссии Союза писателей. Анна Караваева, Юрий Олеша, Николай Тихонов, критики московские разошлись во мнениях и очень сильно. Тут-то председательствующий взял из своей папки листок бумаги и прочел письмо заболевшей Маргариты Шагинян. А она писала: «Николай Алехин очень даровит, и обязанностью областной комиссии является осторожно и умело подойти к оценке первых литературных опытов этого автора, правильно указать ему на его сильные и слабые стороны, верно направить дальнейшее литературное развитие Алехина». Так ко мне и отнеслись тогда, так отношусь к молодым дарованиям и я сам...

Пятнадцать лет подряд Николай Иванович возглавлял литературное объединение при Воронежском отделении Союза писателей... Так же, как со мной, Николай Иванович работал и с Сергеем Матониным, и с Валерой Мартыновым, и с Леонидом Артеменко... Одним словом, со всеми в то время начинающими литераторами, в восьмидесятых годах составившими костяк Воронежской писательской организации. Да и поныне еще плодотворно работающими в литературе...

* * *

Таким вот предстал перед нами наш земляк — писатель Николай Алехин в эпизоде его уже «воронежской» жизни. И это приятно... А что касается его рассказов, то каждый желающий может познакомиться с ними, взяв какой-либо из сборников писателя в библиотеке...

Валерий ТИХОНОВ

КАРАСИКИ

Есть у нас такое село: Высокое. Почему так называется? А просто потому, что стоит на самой верхней точке округи, как на лысине. Места там сухие, безводные. И знаешь, как радостно было, когда построили пруд. Недалеко от села был широкий лог. По нему каждую весну проходила вода. Прощумит бесполезной рекой, и нет ее. Куда ушла — спрашивай, след простыл. А колхозники взяли, земляной плотиной этот лог перегородили и в первую же после того весну стали со своим прудом. Образовался он шириной метров в двести, длиной без малого километр.

В новинку это было до невозможности удивительно. Не то что малый и старей — самые глубокие старики, которым и ходить-то уже было неохота, и то побывали на пруду. Шутка сказать! Испокон веку, с дедов-прадедов, жили на сухом месте. На земле — ни ручейка, ни родничка, да и под землей вода далеко. А тут хоть пей, хоть лей, хоть залейся — море разливанное.

Ну, сперва, конечно, началось с удивления. А потом с водой новые радости в жизнь пришли. Летом, как известно, купания. Эх, и знаменитое же это дело: после работы, с устатку, в просторной и прохладной воде поплескаться. В большие праздники на берегу стали устраивать общие гуляния. А молодежь — эта каждый вечер по воде песни стелет. И всякому свое удовольствие. Вот, к примеру: вскорости после открытия пруда пастух Тиньков пришел домой какой-то будто помолодевший. Прямо весь сверкает и говорит своим взрослым сыновьям и дочерям:

— Я плавать научился! Теперь до смерти не утону.

Он, Тиньков, и над собой, и над другими, и вообще подсмеяться любит. Он рассказывал, что когда первый раз пригнал стадо к пруду на водопой, то бык Кузя на все горло ревел: «Хор-рошо! Благода-рю пр-ра-вление!» А коровы пили воду так, будто целовали ее.

Шутки шутками, а хозяйственная польза от пруда получилась могучая. Водопой для скота — это одно. Развитие птицеводства — другое. Раньше в колхозе была только сухопутная птица — пехота. С прудом завели водоплавающую. Для начала, десятка три-четыре. А теперь пойдilah глянть: птица белым-бело, чисто снегу намело. Стаи гусей да уток гуляют на пруду, как облака по небу перед дождем.

Года не прошло, установили на берегу двигатель с насосом. От него к ближним огородам проложили трубы, создали орошаемый участок. Так сказать, обзавелись собственным дождем. Сразу же заметная прибавка к урожаю овощей.

По этому случаю Иван Дорофеевич Поярков любит сказать:

— Тут тебе и удовольствие, и родовольствие.

Он сторожил колхозные бахчи, и его шалаш стоял на виду пруда. Он в нем и дневал, и ночевал. А это я к чему? А к тому, что случилась у пруда одна история, и к ней Поярков имеет самое прямое касательство.

Значит, так... Вот встал Дорофеич раньше солнышка, смотрит, а на берегу сидят два каких-то человека. Лицом к воде сидят и молчат. Недалеко от них маленькая легковая машина, «Москвич», что ли. Дорофеич подходит, спрашивает:

— Вам чего, граждане?

Те на него руками замахали, зашипели, как гуси:

— Тиш-ше... ш-ш-ш...

Дорофеич вплотную. Цигарку свертывает, смотрит. Они удочки во все стороны от себя ежиками расставили и сидят себе, уставились на поплавки. Рыбку, стало быть, поджидают. Один другого нет-нет да и спросит:

— Клюет?

— Нет. А у тебя?

— Тоже нет. Видать, сыта рыба.

Смех Дорофеича разбирает. Он думает: «Ладно, пусть посидят, развиднеется — сами разберутся, им же веселее будет».

А день подходил, как на дрожжах. Вода в пруду сделалась будто полированная, по ней девичьими косами вьется туман, вверх поднимается и в небе тает. Поплавки будто в крутом кипятке. Другого берега не видно, из-за тумана там выставились только верхушки молодых деревьев. Они уже позолочены солнцем. Тишина... Только и слышно, как где-то на пути к пруду переговариваются селезни с уточками, а гусаки с гусынями.

— Эх, красота-то здесь какая! — это один рыбак говорит. Другой только разохался-разахался, на окружающую природу глядя. И про удочки забыл. От всего этого Дорофеичу радостно за колхоз стало. Да и за себя тоже. К этой красоте он тоже руку приложил, она своим трудом сделана. Подобрел Дорофеич...

— Вы кто ж такие, уважаемые, будете?

Рассказали. Они с воронежского завода. Инженер и токарь по металлу — в отпуске. Люди молодые, на месте им не сидится. Вот они и катаются на своей машине по всей области. Для отдыха. Где ружьишком побалуются, где удочками, а где и просто полежат на солнышке.

Вовсе подобрел Дорофеич...

— Вы уж нас извините, дорогие сынки, но, по правде сказать, пруд наш хотя и красивый, но нежилой.

Они сами над собой посмеялись и начали собирать удочки. Токарь говорит:

— Придется вам помочь. Вез братишке в подарок, но раз такое дело, оставляю вам на развод.

Достал из машины ведрушку, и воду из нее выплеснул в пруд. Тут Дорофеичу пришел черед посмеяться. Говорит:

— Покорно благодарим, но этого добра теперь у нас хватает.

А токарь в ответ:

— Эта вода живая, с Дона.

С тем они и уехали. А как уехали, Дорофеич на том самом месте, где токарь выплеснул воду, увидел карасиков. Стоят в пруду у самого берега три сонных карасика и пошевеливают хвостиками. Интересно! Дорофеич наклонился пониже, чтобы получше разглядеть. А бородища у него, если б ты видел, — как веник. В воду окунулась и спугнула карасиков. Они встрепнулись и ушли вглубь.

Ну и вот... Ушли карасики, и спокойствие от Дорофеича ушло. Стал ему пруд казаться каким-то уж очень пустынным, а вода в нем и взаправду неживой. И красота, какая была вокруг, куда-то ушла, вроде того — в обиде, что ее недоработали.

Так допекли Дорофеича эти думки-раздумки, что невтерпех ему стало. Одним днем пришел он в правление колхоза — и за критику:

— Пруд у нас неправильный!

— То есть как это «неправильный»?

— А вот так: пустой.

— Тю на тебя! От птицы воде тяжело, а ты — «пустой»...

Дорофеич доказывает:

— Птица, она, можно сказать, на крыше, а внутри пруда — пусто, хоть шаром покати.

И тут он рассказал о том, как проезжие у пруда сиднем сидели, да как донских живцов-карасиков положили, да какое от рыбы будет продовольствие и удовольствие, если она заведется, и прочее в том же рыбном направлении.

Председатель колхоза Сергей Григорьевич Дубатовкин на все это говорит:

— Вижу, куда ты клонишь. Непривычно нам рыбой заниматься. Наше дело — земля и скот, земледелие, а не рыбоделие. Рыба — дело рыбацкое.

Дорофеич в спор пустился, но председатель от спора отказался:

— Ты меня от зерновой улицы на какие-то там кривые проулки-закоулки не толкай.

Однако же на этом дело не кончилось. Сергей Григорьевич упористый, стронуть его с места трудно, но если стронешь — не удержишь, а Дорофеич напористый — не отстанет, пока не стронет. Вот и пошло между ними: кто — кого. Дорофеич в колхозной библиотеке взял книгу о разведении рыбы в прудах, выбрал случай и подsunул председателю в его бумаги. Через день тот вызывает Дорофеича в правление, книжкой размахивает.

— Твоя работа?!

— Ничего не знаю.

— Все знаешь! Ты мне литературу, как подпольщик, не подбрасывай. Я ее и не читал, эту пустяковину. А что касается рыб, то им, оказывается, нужен заботливый уход. Дело сложное. Корма им готовь, воду удобряй, от болезней лечи. Хватит нам заботы об удобрении полей, о кормах для поголовья. Все! Можешь идти к своим карасям.

Нет, не все! Дорофеич с другой стороны в обходное наступление пошел: стал подбивать на сторону рыбы других колхозников. Заинтересовал. Они тоже к председателю насчет разведения рыбы толкнулись. Он — Дорофеичу:

— Ты ко мне агитаторов не подсылай, ты мне голову рыбой не забивай! Иметь ружье да удочку — хлеб есть почуточку. Понял?

Дорофеич в ответ:

— Понял, Сергей Григорьевич: рыбку лучше возить из райцентра, как делает твоя жинка, когда там бывает...

Председатель ладонью по столу:

— Все! Разговор окончен!

Тут, кажись, председателева власть взяла верх над властью Дорофеича. И, вроде того, вопрос о рыбе провалился и век ему не подняться.

Ладно. Что было дальше — слушай.

С некоторой поры зачастил на пруд Сергунька Тиньков, сын пастуха Егора. Этой весной он закончил школу-семилетку, а пристрастие и талант имел к искусству. Он рисовал картину на областную выставку колхозных художников. Хорошо у парня получалось! Сидит, кисточкой туда-сюда двигает и все, что видит, красками кладет на холст. И воду, и зеленый берег с молодыми березками, и навес с двигателем, и косогор с бахчой тоже положил. По тропинке утки вперевалочку идут — на утреннее купание. На верху косогора — шалаш. Возле шалаша сидит у костра и варит ранний завтрак сторож, похожий на Дорофеича. Через его веникбороду просвечивается солнце. Сзади всего — небо, а у самой травы ле-

жала зорька, выше зорьки плыли куда-то облака, и по ним с размаху уже били солнечные лучи.

Работу Сергуньки проверял Иван Павлович Новиков, учитель рисования. Он говорит:

— Все хорошо получилось, только вода какая-то не такая, будто она не мокрая.

Принялся Сергунька воду и так и этак перекрашивать, а все не становится мокрее. Иван Павлович только головой качает. А Дорофеичу парнишку жалко, он и говорит:

— Тут хоть головой качай, хоть сам качайся, а раз Сергунька привык к полю, воду ему одолеть трудно.

Думал, думал, как парня из беды выручить, и придумал, дал совет:

— Пусти по воде отдельными местами рябь, как от ветра, вот и вся недолга.

Сергунька так и сделал.

Дальше. Управился колхоз с уборкой урожая, рассчитался по первой заповеди с государством, и задумал Дубатовкин одно хозяйственное дело — снять с бахчей весь осталец арбузов и отвезти на колхозный рынок, в Воронеж. Далековато, правда. Но расчет был такой: продать в городе арбузы и там же на вырученные деньги закупить лес для постройки здания насосной станции. Так и сделали: нагрузили две машины, поехали. На одной машине ответственным завхоз, на другой — я, сторожующим, понятное дело, Дорофеич, общее руководство, само собой, за председателем, а пассажиром Сергунька Тиньков. Ему как раз приспело время везти картину на выставку.

В Воронеже разделились, каждый занялся своими делами: мы — хозяйственными, Сергунька — художественными. Управились мы с хозяйственными, заехали за Сергунькой в Дом народного творчества, где была выставка. А там как раз картины обсуждают, какая лучше и чем она лучше, какая хуже и почему. Занималась этим делом специальная комиссия. Там были и художники, и общественные представители, и всякие знатоки и ценители.

Картин много, и все разные, и каждую нужно было разобрать от начала до конца, от наружности до нутра.

Доходит очередь до картины «Колхозный пруд. Утро». Мнение складывается такое: дать Сергею Тинькову поощрительную премию, чтобы рисовал еще лучше. Вся комиссия за это, и только один против. Какой-то видный художник. Он с усиками и бородкой, а бородка кисточкой. Вот он стал перед картиной и давай своей кисточкой вверх-вниз шевелить. Воздух, говорит, есть, и даже прохладный, и даже с ветерком. Зорька? Хорошая зорька, и видно, что утренняя, а не какая-нибудь. И уточки хорошие, и даже кажется, что они крикают. И арбузы, ясно, что спелые. Но что касается воды, не чувствуется ему, что это вода. Прозрачности в ней нет, какая-то неживая, и морщинки на ней как застывшие, окаменелые.

Когда Дорофеич слушал о том, что вода в пруду неживая, только вздыхал и всю свою рыбную горячку, как видно, вспомнил. Но как только художник перешел на морщинки — на месте не мог сидеть, как на сковородке по стулу заерзал. Плохи дела... зацекочет эта кисточка Сергунькину красоте. А кто пареньку морщинки подсказал? Он, Дорофеич. Значит, и ответ его. Вот он и решился: незванный-непрошенный, с места встал, вышел к картине и веником своим против кисточки всю замахал...

— Извиняюсь, где же вы здесь узрели морщинки?

— Как где? А это что?

Тут Дорофеич даже засмеялся каким-то не своим — деревянным голосом и даже руками всплеснул.

— Так ведь это же карасики в воде! На зорьке они стайками держатся и вот так без движения, в задумчивости дремлют. Если с берега смотреть, то так они и видятся, как на картине.

Художник сейчас же показал на другое место пруда.

— А это что?

— Где? Здесь? Опять же они, карасики.

— А это что?

— Они же — иная стая. А вот, глядите, еще косяк. Ишь, как хвостиками взбрыкивают, жируют.

Художник прямо-таки растерялся, и даже кисточка у него опала...

— Ну, знаете, это уже не пруд, а какая-то кастрюля с карасями.

Тут со всем пылом-жаром вmeshался один общественный представитель.

— Позвольте! — говорит. — Что в этом удивительного? Значит, вы не знаете как художник нашего колхозного села. У нас в области нередки колхозы, где с каждого гектара пруда получают до двадцати центнеров зеркального карпа. А бывает, и больше. Вот вам и кастрюля!

— Верно! — обрадовался этой поддержке Дорофеич. — Урожай на рыбу идет такой, что аж пруд пучит! Точная картина. Уж это наш председатель, товарищ Дубатовкин, — он здесь, хорошо знает и подтвердит...

Дорофеич в ту пору ж председателя глазами искал и не нашел. И мы искали — не увидели. Никуда он не девался, был неотлучно среди нас, а вот не нашли мы его, и только.

На этом обсуждение кончилось. Вполне благополучно для всех: для Сергуньки, для Дорофеича и для председателя тоже.

Всю обратную дорогу Дубатовкин ни с кем не разговаривал, а все чего-то прикидывал на пальцах и шевелил губами. А в глазах у него — это я заметил точно — плавали караси целыми косяками и даже резвились хвостиками. Мне, правда, очень хотелось спросить у председателя, как он этакого достиг, что невидимым сделался, но посмотрел на него и спрашивать не стал. Понятно было: разговор окончен. Доконал Дорофеич председателя. Один напористый, другой — упористый. Упористого стронуть с места трудно, но уж если он стронулся — тут ему не мешай.

ПЕРЕВЕРТЫШ

В магазине нашего сельпо селедка бывает, но не так чтоб уж часто, с переборами. Тем более копченая. А хлебороб, если хочешь знать, он посолонцевать любит. Потому как больше всего работает под открытым солнцем и, должен понимать, сильно испаряется, теряет много соли — восполнить надо.

Вот, значит, как-то заплыла к нам отменная копченочка. Целым косяком, несколькими бочками сразу. Я рысью в магазин. Подцепил на серебряную удочку килограмма три, не меньше. Ну, понятное дело, за завтраком я просолился, можно сказать, насквозь — восполнил. В охотку копченочка шла за мое почтение. А после завтрака тотчас же собрался в районный центр, за председателем колхоза. Он там гостевал на каких-то долгих совещаниях-заседаниях, а его легковая машина была в ремонте.

Запряг я Буланого в дрожки, нацелил его по нужному направлению и говорю:

— В центр!

Он мои устные руководящие указания понимает: шажком на большак, по большаку — прямиком на райцентр. Я и к вожжам не притронулся. Солнце тоже идет своим большаком, взбирается по небесному косоугору. И чем оно выше, тем становится добрее и добрее. И вот тут-то, братец ты мой, во мне и заговорила копченочка — запросила пить. Еду и завидую всем как есть живым рыбам во всех больших и малых водоемах земного шара. Эти небось никогда не потеют, не усыхают и жажды не знают. Солнце добрее — копченочка во мне злеет. Дальше больше. Горю! Этак, думаю, усушусь до того, что не останется во мне ни живинки, ни кровинки, довезет до райцентра Буланый одну поджаренную корку в одеже. Только по одеже меня и узнает председатель. Надо принимать срочные меры к своему спасению.

На полпути до райцентра, километрах в двух в стороне от большака, село Кучугуры. Хочешь не хочешь, а пришлось свернуть к нему — на кривопуток. Ладно, свернул. Доезжаю до крайней хаты. По правде сказать, не хата, а самый настоящий дом: пятистенка, под шифером, с верандочкой, и молодой садочек при нем. Доезжаю, с дрожек долой — и на верандочку. А там какая-то уже немолодая женщина встречает меня и ни с того ни с сего:

— Вы к нему?

Мне все равно к кому — отвечаю:

— Мне бы воды...

Она с полным одобрением говорит:

— Так, так, правильно! Больше не к кому. Он всем докторам доктор, всем наукам наука. И его вода необыкновенная!

Ага, смекаю, должно быть, здесь живет сама медицина. Ну, да мне все едино, у кого напиться. Вхожу в переднюю комнату. За столом сидит гладенький такой мужичок лет под шестьдесят, клинышком борода, аккуратная лысина, одет чисто, по-городскому. Сидит и что-то ест из миски. Я к нему:

— Здравствуйте, доктор! Мне бы воды. Ну прямо терпения нет, измучился.

Он не спеша доел, рот обтер, бородачку отрусил и — ни слова, ни полслова — ушел в соседнюю комнату. Вскорости оттуда его голос:

— Больной, войдите!

Голос, если б ты слышал, такой приказной, что знай подчиняйся. Ладно, иду на зов, больной так больной. Едок уже в белом халате, в такой же белой шапочке, на носу очки в толстой оправе, на руках блестящие резиновые перчатки.

— Извините, — говорю, — будьте настолько добры...

Он блестящую свою ладонь поднял, просьбу мою остановил на полпути:

— Мучаешься, говоришь?

— Уж так, — говорю, — мучаюсь, прямо терпения нет.

И начал было объяснять, что все во мне пересохло до дна и вот-вот растрескается, но он мне:

— Вижу. Все сам вижу. Не мешай.

Вынул из кармашка здоровенное увеличительное стекло, отошел и со стороны начал меня через это стекло рассматривать. Поясняет:

— Теловидение издаля.

Говор у него какой-то, как бы сказать, деревенский — «издаля». Но тогда особого внимания я на это не обратил. Он со стеклом все ко мне ближе, ближе, стал вплитык.

— Теловидение в упор.

Своим глазом в мой глаз через стекло нацелился.

— Осмотр пульсации и трепет организма.

Я ему хочу сказать, что явился не на осмотр, а только чтобы выпить, но он на первых же словах меня пресекает:

— Больной, не мешайте процедуре.

Что за диковина, думаю. К иному врачу на прием не достоинься и внимания к себе не добьешься, а от этого не отобьешься. Ничего не поделаешь, хоть во мне все и трепещет от жажды, а придется потерпеть, пока он не кончит осмотра. Медицина! Шагу без пульсации не сделает.

Спрятал он стекло в кармашек, достает из другого слуховую дудку и давай меня и так, и этак ворочать, повсеместно ослушивать, остукивать. Напоследок добрался до головы. Приложился дудкой к затылку, через дудку вслушивается, говорит:

— Задняя нервная система как будто в порядке. Проверим боковые условные рефлексы.

Выслушал через дудку мои виски.

— Наклони мозговую часть, проверим тестоскопом высшую нервную деятельность.

Я догадался, что это за часть, наклонил голову, он — дудку к макушке. Потом сел за стол и начал барабанить по нему пальцами и думать. Раскрыл толстенную книгу, начал ее листать-перелистывать, губами шевелить. Пока он шевелил, я разгляделся в обстановке. Чисто. На стене плакат: «Не пейте сырую воду», и еще: «Медицина — друг здоровья». Этажерка с книгами и книги на столе. Шкафчик, и в нем банки-склянки и пузырьки. Медицина! Сидит, губами и бровями шевелит и решает: жилец ты или не жилец на этом свете. Шевелил, шевелил, а потом и говорит:

— Консилиум.

— Что, что? — спрашиваю.

— Консилиум-аквариум, — отвечает. — Это тебе не понять, это по-латынски. А что по-латынски, то и по-медицински. Плохи твои дела, гражданин. Смертельному болезнью.

Хоть и латинский, а русский смысл до меня дошел, и душа у меня в пятки закатилась.

— Что плохо-то? — спрашиваю.

— А все плохо. Растрескалась кора головного мозга — раз. Распата-но торможение — два. Покосилась центральная нервная система — три.

Мать честная! Жуть, да и только. Живешь, живешь, ничего не знаешь, а оказывается, уже и распатался, и покосился, и растрескался...

— Что ж будет-то, доктор?

— А ничего особенного. Эпилепсия с прогрессором в будущее. Воспаление условных рефлексов и малахолия.

У меня, признаться, мороз по коже. Приходилось мне бывать и в нашей амбулатории, как-то отлежал месяц в сельской больнице, проходил обследование в Воронеже, в областной поликлинике. Словом сказать, в руках у медицины побывал, вплоть до профессоров, свои болячки знаю и по-русски, и по-медицински, и по-латынски. А тут на тебе, что-то такое, о чем еще ни разу не слышал и в себе не знал.

Взял я и все это доктору высказал. А он говорит:

— Прежние врачебные насчет тебя заключения я не отменяю. Но они касаются только твоего нутря. Я же практикуюсь в высшей нервной идейности по методу академика и корифея Павлова. Городские доктора этого еще не постигли, а я его ученик, по переписке.

— Что верно, то верно, — говорю, — дудочкой голову мне еще никто не слушивал и через стекло не осматривал.

Он меня тут же на ходу поправляет:

— Не дудочка, а тестоскоп, не стекло, а оптика для обозревания организмов — теловидение.

После научных разговоров пошел у нас разговор практический.

— Что ж делать-то, доктор?

— Само собой, лечиться. Могу, конечно, и я заняться тобой, а хочешь — обратись к кому другому. Только, боже упаси, по знахарям не бегай.

— Да что вы, — говорю, — эти пережитки на мне не висят. Раз вы болезнь определили, вы и лечите.

— Это, — говорит, — можно. На первое время дам тебе то, что ты просил.

И вышел в переднюю половину. В его отсутствие я, по совести сказать, немножко распустился. Подошел к столу и стал смотреть книги. Тут были о том, как ухаживать за плодовым садом и разводить пчел, как вывести жучка-древоточца, если он завелся в строении, как самому построить лодку, как окрашивать разные ткани и одежду и другие подобные книги. Житейские, а не медицинские. А толстая, над какой он шевелился? Она прикрыта другими. Я прикрытые приподнял и, веришь, было не упал... «Жития святых».

Слышу, идет. Я от стола птахой — и принял нормальный вид. А в мозговой моей части все как есть перекошилось, распаталось и вот-вот растрескается. Что ж это за доктор такой? Одной ногой вроде в науке, другой — в боженьке. И какие такие медицинские советы он у него вышпывал-вымаргивал?.. Голова раскалывается.

Вернулся этот доктор не с пустыми руками — с бутылкой из-под водки, в ней что-то прозрачное. Наказывает:

— Принимать по одному глотку в сутки, но, чур, ночью, в полной темноте и перед самым сном. Понятно?

— Вполне.

— Никому ее не показывать и никому о ней не говорить. Даже жене.

— А это непонятно.

— Трактую. В этом сосуде электромагнитная атомная есенция с замоченными атомами и радиопрепараторами.

— Ну и что же?

— А то, что ежели кто другой, кроме тебя, на есенцию глянет, она тут же делается обыкновенной водой.

— Да это почему же?

— По сглазу. Иначе, по-научному, по гипнозу дурных глаз. Из нее немедленно рассеется атомная энергия. Начисто. В мировое пространство. Мало того, у тебя может сотвориться распадение атомов в организме. Иначе — лучистая болезнь. Понятно?

— Понятно, — отвечаю. А про себя думаю: наука или чертовщина? Слова вроде и научные, но какие-то путляные, с корявинкой. Тут тебе и атом, и радио, и мировое пространство, и вроде того «чур-чур» — сглаз, «дурной глаз», и «господи еси на небеси». Растеряешься.

— Ладно, — говорю, — атомную, так атомную, давайте,
И тянусь к бутылке. Но он мою руку отстранил, протягивает свою:
— Гони десять.
— Чего десять?
— Рублев.

Прикидываю. По старым ценам это сто рублей. Настоящего расцен-ка я, понятное дело, не знаю, а в сто не поверил. Правда, сказывают, что иные профессора за один прием на дому тоже брали с больных по сотне или около того. Но то ведь профессора.

— Нельзя ли, — спрашиваю, — заглянуть в прейскурант цен?

Он в обиду:

— Здесь, извиняюсь, не базар. Здесь самое новое лечение на трех научных столбах. Атомная энергия в мирных целях, учение академиком Павлова, Мичурина и других лауреатов и корифеев, условные рефлексоры высшей нервной идеинности вкупе с народной медициной. Понятно?

Доверия к этому доктору у меня уже не было. Осталось одно сомнение, но без определенного обвинения. Поэтому от прямого ответа я увильнул.

— Оно хотя и понятно, но не очень внятно. Науку я беспредельно уважаю, об Иване Петровиче Павлове читал сам в одной книжке, а с Мичуриным Иваном Владимировичем я одно время даже был в почтовой переписке, но больших денег с собой не беру: на вино слаб. Так что, извините, как-нибудь в другой раз.

Поклонился — и к двери. Он меня за рукав:

— погоди. Экой ты несговорный. Я ведь не для наживы. Я — пролетарист, мне ничего не надо, из жалости к людям практикуюсь. Мне бы только расходы оправдать.

— Какие расходы?

— А вот такие. Вода откуда? Из Академии наук. Выписываю — присылают. И все за мой счет. Понятно?

Я в переднюю комнату — он за мной и сразу же сбил цену наполовину. Я к выходу — он за мной. На верандочке силком вложил мне в руки бутылку:

— Давай хоть на пол-литра.

Тут мы заметили старичка, какой сидел на крылечке у дома напротив, и «доктора» как ветром сдуло, даже и бутылку у меня не забрал. Схожу я с ней по ступенькам и ног под собой не чую. Что ж это за медицина такая? Сроду такой не встречал. Человек я хотя и грамотный, но необразованный, однако скажу, кое-что в жизни понимаю и на мякине меня не проведешь. А тут такая непонятица, что и ума не приложу, что к чему и почему.

В тот момент, когда я оказался на последней ступеньке, мимо проезжали по улице несколько грузовых машин. На каждой полно женщин с тяпками. Как видно, колхозницы ехали на прополку. Глядя на меня, засмеялись на первой машине. Прошла вторая — засмеялись на второй, и так и пошло, и пошло перекатом по всей колонне. Значит, думаю, и в самом деле у меня такой перекошенный вид, что людей веселит. Старичок сидел напротив, на лавочке, через всю улицу пальцем меня поманул:

— Иди-ка сюда, гражданин.

Я подошел.

Он мне:

— Ай-яй-яй... Попался на крючок, простачок? Век прожил — ума не нажил?

Другому бы я такого обращения не спустил. Но этот был намного старше меня. Стерпел.

— Погоди, — говорю, — я тебя, папаша, не понимаю.

Он на бутылку показывает:

— Удостоился? Срам! Уже и спутники, и полетчики в небе завелись, а дураки на земле все не переводятся. Так, что ли?

— Нет, — отвечаю, — не так. У меня у самого от этого доктора ум за разум зашел.

— Какой он тебе доктор? Перевертыш.

— Это как же понять?

— А так: испокон веку ходил в знахарях и леший лешим. Да вот с некой поры дела у него заплосали, так он, вишь, в какую-то атомную науку перевернулся, а вывернется ли — посмотрим. В свидетели пойдешь?

— А чего ж, пойду. Только мало чего знаю.

Он у меня бутылку отобрал, говорит:

— Это вещественное доказательство. Мне повезло. Мы ведь тут поочередно дежури́м в наблюдающих, чтоб прямо за руку его поймать. Главное — живые свидетели, а они, понимаешь ли, избегают. Кому ж охота признаться, что мошенник его обвел и вывел. Избегают. А потом еще и смею бояться. Слыхал, как тебя наши свекловичницы обсмеяли? Вот то-то.

От этого напоминания и мне стало весело, в мозговой части все выпрямилось, стало на место, и тут же пробудилась от временной дремы такая жажда, что не сказал, а едва-едва прошелестел:

— Пи-ить.

Старичок в дом, у которого сидел, постучался, вежливо попросил ведро и кружку. Я одну за другой осаживаю, а он приговаривает:

— Пей на здоровье. Атомная. Из одного и того же колодца. Хороша у нас водица. Что холодна, что вкусна, что мягка — чудо! Только сделай милость, ты уж насчет нашего пупыря не разглашай, наш колхоз не срамоти. Мы сами, дай срок, с ним управимся — искореним.